

## КОЛОРИТ ВРЕМЕНИ

В этом номере мы начинаем публиковать воспоминания Марии Михайловны Иоффе, которые, на наш взгляд, не могут не вызвать интереса читателей.

Бывший секретарь Бюро печати Совнаркома, вдова первого советского посла в Германии Адольфа Иоффе, одна из близких сподвижниц Троцкого, которой он, покидая Россию, отдал свои последние распоряжения, Мария Иоффе в своих воспоминаниях переносит нас в обстановку первых дней революции. Она показывает начало той исторической трагедии, которая вот уже более полувека в официальных советских источниках именуется **ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ**.

Находясь в гуще революции, будучи в рядах ее сеятелей, она оказалась среди тех, кто пожал горькую жатву — 28 лет сталинских тюрем, лагерей и ссылок.

Однако трагическая судьба, постигшая Марию Михайловну Иоффе, не влияет на тон ее повествования — она стремится воссоздать жизнь и людей, ее окружающих, такими, какими она их видела в первые годы революции, не опасаясь того, что ее взгляд во многом не совпадет с оценками умудренного временем историка.

И хотя при этом трагедия революции остается порой как бы за кулисами, воспоминания Иоффе наполнены тем колоритом времени, воссоздать который только и может человек, переживший это время, и который так важен для понимания того, что произошло в России.

## ИЗ ПРОШЛОГО



Мария ИОФФЕ

## НАЧАЛО

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Я родилась в Америке, в Нью-Йорке, но семья наша там почти не жила. Позже я говорила, что специально поехала в Америку, лишь затем, чтобы там родиться.

А началось с того, что в Санкт-Петербург пришла ошеломившая нашу семью весть: умер дядя бабушки Цецилии Ивановны и оставил колоссальное наследство. И вот, после того как консул прислал уведомление о том, что в России разыскиваются родственники умершего, дядя сказал: "Надо собирать чемоданы и ехать". И весь наш клан отправляется в Нью-Йорк — дядя Бернгардт, дядя Герман, тетя Зара, тетя Мальвина, с семьями, — все едут, чтобы не упустить свалившийся на нас миллион.

Вскоре выяснилось, что с наследством обстоит не так просто — умерший незадолго до смерти переменял фамилию. Зато в Нью-Йорке наша семья необычайно быстро разрослась. Там родилась моя сестра, там родилась и я...

Через несколько месяцев консул собрал наш петербургский клан и сказал, что если все мы приехали только ради наследства, то дальше нет смысла ждать. И вот тетушки,

дядя, дети двинулись назад в Санкт-Петербург. Но наследство еще долго не давало покоя нашей семье. Все жили мыслю: вот станет известно истинное имя нашего благодетеля, в доме даже любили рассуждать, как справедливее разделить ожидающее нас богатство.

Мама моя умерла очень рано — я ее почти не помню, — зато мачеха, которая была большой святошей, не уставала говорить, что как только получим деньги, надо будет выстроить богадельню для бедных, а папа — человек очень живой и остроумный — в ответ на эти мечтания отмахивался: "Да все это чушь. Он был, наверно, шпион или авантюрист. Откуда у него такое состояние!"

Всякий раз, как мы только собирались, мой двоюродный брат Борька, спортсмен и атлет, вставал в позу и объявлял: "Именем президента Соединенных Штатов Америки все вы объявляетесь наследниками такого-то состояния!" Однажды сестра меня спросила: "Скажи, что ты будешь делать, когда мы получим все эти бумаги?" На это я не задумываясь ответила, что все эти дурацкие бумаги я сожгу, потому что это наследство губит всю нашу семью. В доме, однако, держались иного мнения. Тетя Иоганна говорила: "Понимаешь, Мусенька, там семерка с энным количеством нулей". На что я отвечала: "Знаете, тетенька, мы получим все эти нули, но вот насчет семерки сомневаюсь".

Кончилась эта история тем, что одна из теток, Елена Андреевна Зак, будучи замужем за представителем Джойнта в России, уехала после смерти мужа за границу, предварительно взяв доверенность от всех наследников. Елену Андреевну с тех пор никто из нас не видел. Это было спустя много лет после революции, я уже давно была в лагере, и, разумеется, никаких бумаг ей дать не могла.

Так или иначе, мое детство не было связано ни с революцией, ни с революционным движением. У нас была типичная семья еврейских коммерсантов, имевших право жить в Санкт-Петербурге, и эту злополучную историю с наследством я рассказала для того, чтобы как-то очертить круг их интересов.

Кто из моих многочисленных дядюшек и тетушек, столь гордившихся своим курляндским происхождением, мог представить, как сложится моя судьба, да и судьба других детей, для которых революция станет главным содержанием жизни, как разметет революция нашу семью и какой трагический урок она всем нам преподаст!

Но все это произойдет много позже, а пока что сразу после возвращения из Америки умирает мама, и отец, будучи еще сравнительно молодым человеком, женится на двадцатипятилетней красавице, и в нашем доме появляется мачеха. Внешне она была неподражаема, но по характеру гоголевская ведьма. Я так и не смогла простить отцу этой женитьбы, и, возможно, именно она во многом определила мою будущую судьбу.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет и я кончила четвертый класс, я заявила отцу, что мы с Додушкой уходим. Додушка был моим младшим братом. В день смерти мамы ему было всего девятнадцать дней, я его очень любила и считала, что, кроме меня, его некому опекать. Так вот, я пришла к отцу и сказала, что мы с братом дальше жить так не можем. К моему удивлению отец воспринял это сообщение весьма серьезно, единственно, что сказал: "Ну ты понимаешь, что это значит? Это две квартиры, две прислуги, два расхода. На это у меня средств нет".

Отец мой служил управляющим в знаменитой фирме Бориса Каплана "Сукно и меха". Сам Каплан был очень стар и почти все дела передоверил отцу, который по тем временам зарабатывал огромную сумму: двести рублей. Служащие очень обижались, отчего отец так много получает. На что старик Каплан неизменно отвечал: "То, что делает он, никто из вас сделать не сумеет".

Была у нас в случае нашего ухода из дома и еще одна трудность: отделившись от отца и без его содействия право жительства в Петербурге мы с Додушкой получить не могли, но и жить еще три года с мачехой, пока кончу гимназию, я тоже была не в силах. И вот тогда я решила сократить время своего пребывания в гимназии и сразу перейти в

шестой класс. Целое лето я не вставая занималась, сама, без всякой помощи. Наша гимназия была очень трудной, с латынью и сложной математикой. Все было как у мальчиков, а не как у девочек. Таких трудных было только три гимназии в России.

Так вот, после лета я пришла и заявила, что хочу в шестой класс. Начальница — очень строгая, в муаровом платье, через руку трем перекинут, говорила басом — встретила меня с удивлением, которое не в силах была скрыть: "Ты что, с ума сошла? Прости меня, конечно, бывает, что в высших учебных заведениях талантливые люди кончают два курса за год, но чтобы в гимназиях прыгали через класс, такого я еще не слышала!"

Я объяснила, что у меня семейное положение особое — в это время прозвенел звонок, — и я спросила начальницу, куда же мне идти. "Куда хочешь!" И я пошла в шестой класс.

Математик наш преподавал в Академии Генерального штаба. Был он очень смешной, маленький, на голове волосики торчат. И еще очень рассеянный. Меня он вообще вначале не заметил, вошел в класс и сказал: "Сегодня будем доказывать теорему Пифагора".

"Что ж это такое, думаю, ведь мы ее давно прошли, и летом я прошла ее еще раз сама". "Но, — продолжал он, — не геометрией, а алгеброй докажете, что  $A^2 + B^2 = C^2$ ".

Позже я так и не смогла ни понять, ни вспомнить, что произошло со мной. Девочки мне говорили, что я была как сомнамбула. Протянула руки. Иду к доске. Рисую в стороне треугольник, потом квадраты. Произвожу алгебраические действия и в итоге получаю нужный ответ. И такое меня охватило счастье, подобное какому-то озарению. Мне уже было все равно — пятый, шестой класс, девочки, учитель. От переполнявшего счастья я никого не видела. Повернулась, иду назад, снова руки вперед. Глаза квадратные. Когда пришла в себя, то никак не пойму, отчего все шушукуются. Может быть, у меня что-то не в порядке? Да нет же — оказывается, математик по пятибальной системе поставил мне шесть и при этом сказал: "У меня в Академии еще ни-

кто этого не решил!" Интересно, что в жизни я никогда больше не испытывала подобного "озарения".

## МАРКСИЗМ - РЕЛИГИЯ НАШИХ ДНЕЙ

Итак, я кончила гимназию. И конечно же рвалась на Бес-тужевские курсы. Только туда, но туда принимали с восемнадцати лет, а мне еще не было и шестнадцати. К тому же, требовались деньги, много денег, а у меня их тоже не было.

В конце концов поступила я в Бехтеревский психо-неврологический институт. Он был тоже очень дорогим. Преподавали там самые блестящие профессора. Попасть туда мне помог мой новый друг и очень рьяный сионист Матис Самойлович Ойзерман. Он сказал: "Вот вам, Марья Михайловна, деньги за полгода, идите туда немедленно. Поступайте, а потом мне их отдадите". Это была семья очень крупных богачей, и я была его первой юношеской любовью. Чего стоили рядом с этим какие-то деньги!

Отец Матиса Самойловича строил недалеко от моей дворянской тетки роскошный особняк. И все об этом только и говорили. Потом выяснилось, что в семьях тетки и Матиса Самойловича была одна и та же учительница музыки. Эта учительница, пока у Ойзермана перевозили вещи в особняк, только всплескивала руками: "Мусенька! Ой, что там творится!"

Когда Ойзерманы переехали, учительница музыки прислала тетке приглашение привести всех нас к ним на елку. На что тетка ответила: "Э нет", она привыкла к тому, что приходят к ней, она ведь старше... И пригласила на елку детей Ойзермана. Вот тут-то я с Матисом Самойловичем и встретилась. Называла я его по имени-отчеству, как и он меня, хотя Матис Самойлович был еще гимназист, и наша встреча ему стоила того, что он остался на второй год в гимназии.

Вот так я стала студенткой Бехтеревского психо-неврологического института. Совсем не таким ожидала я увидеть этот институт. Я уже писала, что гимназия наша была одной из самых известных и очень высокой культуры.

Еще когда я училась в ней, мы часто бывали в Академии художеств. Там, наверху, над лестницей, висела прекрасная копия знаменитой картины Рафаэля "Academe". Перед глазами возвышались колонны. Возле каждой — ученики Платона в туниках. Горящие глаза. Споры. Платон воздевает руку к небу, а Аристотель решительным жестом указывает свитком на землю. Все возвышенно и прекрасно. Такой была "Academia" Рафаэля.

И вдруг я попадаю в институт с обшарпанными стенами. Обшарпанные полы, и ходит кругом Бог знает какой народ, жаргонит. Подхожу к стене и первое что вижу: "Чтобы победить пессимизм, нужно изучить Шопенгауэра и Вейнингера. Вступайте в такой-то кружок". Рядом: "Философия — синтез всех наук. Вступайте в семинар профессора Жакова". Дальше: "Марксизм — религия наших дней. Вступайте в кружок по изучению Маркса". Затем еще: "Коллега, крепи студенческую кооперацию!" И тут же "вдохновенное" рукопожатие: студент жмет руку курсистке. Потом еще плакат — голубое знамя с семью звездами, знамя Маккавеев. У знамени робко стоит какой-то низенький человек и так же робко обращается к студенту: "Скажите, пожалуйста, что это за знамя?" "Этому знамени две тысячи лет!" — следует ответ. "Подумайте, а ведь совсем новенькое!"

Надо сказать, что среди этого невероятного политического хаоса сионизм произвел на меня самое сильное впечатление. Очень многие его деятели вышли именно из стен Бехтеревского института. Они все были старше меня: Идельсон младший, Виленчук, большой мой приятель, Гиндес. Потом они все были тут, в Израиле.

Виленчук долгие годы провел в лагерях под Архангельском. Однажды, когда их вели на какие-то очень тяжелые работы и был малый конвой, он бежал, переплыл большое водное пространство и чуть ли не в открытом море его подобрало проходившее судно. Так он смог добраться до Палес-

тины. Не менее причудливо сложились и судьбы других. А вообще все это были замечательные парни, полные юмора, энергии. Все они носили на фуражках три буквы "ПНИ" (а мы эти же буквы — на платках) — Психо-неврологический институт, или, как шутили, "Прав не имеет". Это означало, что институт не давал выпускникам никаких прав, и государственные экзамены мы должны были сдавать при университете.

Как-то пришел в институт наш декан, сам Бехтерев. Он был в генеральской форме, с двойными лампасами, лейб-медик двора Его Величества. Так вот, придя к нам, он заявил, что отныне студентам предоставляются права, причем все евреи остаются, как и все выброшенные из семинарии, остаются и те, у кого красный штамп (выброшенные из институтов за революционную деятельность, без права поступления в другие вузы). Но потом, конечно, долгое время придется евреев не принимать, и так же, как во всех институтах с правами, будет установлена процентная норма.

"Однако, — повторил Бехтерев, — это для новых. У вас же у всех появятся права". И вот после этого состоялось невероятно бурное собрание — принимать или не принимать права на условиях, о которых сообщил Бехтерев. Он изложил эти условия и сказал: "Я уйду и приму любое ваше решение!"

Первым берет слово Иссерович, великолепный оратор, он говорит: "Иисус Христос из храма прогнал меня, он сказал — не делайте из дома отца моего дом торговли. Так вот, позвольте мне с этого начать: наш институт имеет кружки, имеет собрания, имеет журналы, и это великолепно, но, господа, мы же не учимся!"

А ведь действительно учиться было некогда. Я и сама в те годы почти не занималась, нужно было зарабатывать деньги на жизнь нам с Додушкой (служила я в книгоиздательстве Вольфа). Но не училась не только поэтому, надо было ведь заниматься политикой. Кого только среди нас не было — были сионисты, были бундовцы, социал-демократы, кадеты... — причем все идеалисты, готовые сложить головы на плаху за свое дело.

Это была особая эпоха, и вышли из нее люди особого склада. Почему так естественно, что я провела двадцать восемь лет в лагерях? Да потому что я из другого времени, человек культуры XIX века, культуры нашего института. Что могло быть общего у нас с теми, кто пытал меня и миллионы таких, как я, в подвалах Лубянки!

Между тем Иссерович продолжает: "Я, конечно, понимаю социалистов, я понимаю анархистов. Но сначала поучитесь, друзья мои. Мы же Митрофанушки все, мы же недоросли, а для этого нам необходимы права. Без этого мы не будем учиться".

"Конечно, Иссерович прав", — думаю я.

Но вот выступает наш студент, вождь санкт-петербургских эсдеков грузин Хачалава и с сильным кавказским акцентом говорит: "В черной беззвездной ночи, в страшном деле, которое называется Россией, в темноте, где воздуха нет и нечем дышать, есть только одна щелка — наш институт. А господин Иссерович говорит нам: Мне дует, закройте эту щелку!"

"Господи, да и он же прав, — снова думаю я. — И тот прав, и этот", — и я не знала, кто больше прав и кто ближе мне. Какие страсти кипели, какое голосование. И все-таки отвергли, не приняли прав. Всех принимать, и все пусть учатся.

И такими же бурными были наши сионистские вечеринки. Постоянный объект шуток Идельсон младший. Была у него манера всякий раз, когда выступал кто-то из антисионистов или бундовцев, задавать один и тот же сакраментальный вопрос: "Коллега, а где ваш мандат? Вы говорите "мы-мы", а от чьего имени вы выступаете?" Дело кончилось тем, что про Идельсона сочинили песенку: "Лидер Ахаверат младший Идельсон, для всего он Бунда прямо страшный сон. Демосфен в квадрате толкует о мандате и завел в Ахаверат бон-тон".

## В СМОЛЬНОМ

Революция, революция. Как передать настроения тех дней? Все рушится, все бурлит вокруг. Я иду к своим сотрудникам по книгоиздательству и заявляю, что так дальше мы тоже жить не можем, надо срочно вступать в члены профсоюза. Все соглашаются со мной и говорят, что они уполномочивают меня ввести их в профсоюз. Иду в Правление профсоюза, встречают меня там с распростертыми объятиями. Говорят: "Милости просим, у нас как раз сейчас пленум, и мы будем очень рады, если к нам придет Вольф".

На трибуне очередной оратор Кулаковский: "Мы должны ввести в профсоюзе дежурства. Если кто-то бастует, мы должны участвовать в пикетах, мы должны вносить взносы в больничную кассу..."

Слушаю я все это, и беспокойно у меня на душе, что я им-то скажу, своим сотрудникам: "Должны, должны, должны". Поднимаю руку, встаю и говорю: "Вы знаете, в чем дело, я просто не знаю, что сказать тем, кто меня послал. Все мы должны, а что должны нам?"

Боже мой, гром аплодисментов, я даже испугалась, и вдруг чья-то рука: "Предлагаю немедленно ввести товарища в Правление". Голосование, и меня единогласно избирают членом Правления.

Прихожу я обратно, рассказываю, как было. Все, конечно, в восторге. Через два дня меня приглашает к себе сам господин Вольф. Надо сказать, что у него сложилось ко мне особое отношение. Еще когда я устраивалась и он установил мне зарплату двадцать пять рублей в месяц, я страшно возмутилась: "Это черт знает что — начинать с девяти утра — до восьми вечера и двадцать пять рублей". Он ко мне повернулся, окинул меня взглядом, это был бог, который снизошел до меня вниманием: "Послушайте, багышня, я вас совегшенно, не уговагиваю, как хотите..."

А ведь у меня другого места нет, и очень трудно найти работу, но все равно за двадцать пять рублей не пойду, и тогда он превратился в "добротого гения" и сказал: "Будете получать тгидцать гублей и габотать с девяти до шести, но без пегегыва на обед".

Потом выяснилось, что и тридцати рублей мне мало. Вольф не на шутку рассердился, но позже, пригласив меня, сказал: "Знаете, багышня, кое в чем вы действительно пгавы, но дело в том, что мне не нужны люди с гимназическим образованием, и вообще вы у нас белая вогона". Затем он дал мне карточку и сказал, чтоб я шла по указанному в ней адресу и сговорилась о работе. И все было бы прекрасно, если бы как раз в эти дни не случилась история с профсоюзом. Через два дня после моего возвращения с пленума меня вызывает господин Вольф и говорит: "Ну, мадам, член пгавления, будьте догбы кагточку обгатно — или габота, или пгофсоюз".

"В таком случае, говорю, конечно, профсоюз".

Вот так оказалась я без работы. И новое место найти невозможно. В стране развал и революция, и большевики подбираются к власти, и умные люди вообще уже складывают вещи.

При расчете у Вольфа дали мне шесть медных копеек, потому что я постоянно посылала на фронт двоюродным братьям книги. Понемногу у меня высчитывали из жалования, и, когда наступил день расчета, не осталось ничего. И я на улице, и брат гимназист. Купила Додушке на шесть копеек булку к чаю, а сама уж как-нибудь. И тут я решила: горе, беда, раздумья — все это завтра, а сегодня пойду-ка я в знаменитый цирк-модерн слушать Луначарского.

Пришла в цирк-модерн — это было давно завоеванное большевиками место, собственно, к тому времени никаких цирков и циркачей там уже не было.

Луначарский говорил со второго яруса. Сказать, что был полный зал, — значит ничего не сказать, на каждом месте стояли люди, а больше всего столпилось на арене. Я, конечно, тоже пробралась на арену, примостившись на одной ноге.

Он говорил о празднествах Великой французской революции — как он говорил! Надо сказать, что до революции все они лучше говорили. Борьба. Романтика, великие цели...

Я слушала и думала — вот ведь это и есть счастье — всю жизнь стоять и слушать этого человека. Пришла домой и ни за что не могу взяться. Села писать статью о Луначарском.

Написала. Пойти самой, отнести статью в редакцию — можно умереть от страха. А у хозяйки был брат, работал он в типографии, где печаталась большевистская газета "Рабочий путь". Вот я ему и говорю: "Послушайте, а вы не могли бы передать мою статью в редакцию?" Он вытягивается, расправляет плечи... "Я? Завтра же ваша статья будет в газете. Можете купить номер".

А я боюсь на другой день покупать номер — страшно. До вечера дотерпела, а вечером, на Невском, все-таки купила.

Газета — четыре листочка, стою с ней под фонарем и какое же счастье — когда на третьей странице разыскала небольшую колонку. Это была, наверное, десятая часть моей статьи, зато та, что больше всего мне нравилась.

Пришла домой, настроение великолепное. Денег — ни копейки. На столе — открытка: "Просим явиться в Смольный, комната такая-то, второй этаж". Могла ли я тогда предсказать, что это была за открытка, и как она изменит, переворнет всю мою жизнь.

Наутро я пришла в Смольный — а там редакция газеты "Рабочий путь" и ждет меня там редактор, светлой памяти Прасковья Ивановна (сколько ни пытаюсь вспомнить, фамилию ее запамятовала). Так и осталась там репортером большевистской газеты "Рабочий путь".

С социал-демократами еще в институте сложились у меня определенные отношения. Однажды ко мне подходит председатель студенческой фракции РСДРП большевиков Бухбиндер и говорит: "Послушайте, коллега, по-моему, вам пора вступать в партию". Я отвечаю: "Что вы, что вы, партия — это что-то огромное, а я? Нет, нет, я еще кое-что не дочитала, не додумала." А он говорит: "Знаете что, вступайте в партию, а потом дочитаете и додумаете, а мы поможем".

Я так и не дала ему ответа, но с тех пор потеряла покой. Казалось мне, что настоящая жизнь грохочет мимо меня, а моя жизнь совсем никчемная.

Наступил июль. Убили Воинова. Я хочу что-то делать, а не знаю, как и что. В институте никого нет. С трудом разыскала Бухбиндера: "Куда ты, к черту девался, я хочу в

партию, а тебя нигде нет". "Ну, давай, говорит пять". Я ему дала "пять" и с обидой говорю: "Ну, что теперь, когда уже все кончено, когда уже Воинова убили!" "Кончено?" — произнес он со своим обычным еврейским акцентом — еще только начинается!"

В чем-то его слова действительно были пророческими — революция и в самом деле только начиналась, неся с собой муки, страдания и кровь. Но я ничего этого не видела. Я мечтала о светлом будущем и рвалась переделывать жизнь, не подозревая, какая жестокая расплата меня будет поджидать именно тогда, когда казалось бы моим мечтаниям суждено было воплотиться в жизнь. Но это уже будет другая эпоха, когда идеалисты и романтики революции превратятся в жестоких и беспринципных прагматиков. Впрочем, как я теперь понимаю, одна эпоха вышла, выпочковалась из другой. И в том, что на бескрайних полях России, где бурлил океан революции, выросли лагеря смерти, в которых я провела двадцать восемь лет, — во всем этом тоже была своя закономерность.

На моем столе лежит книга, написанная об этих долгих годах мук и страданий, но это уже другая тема. А эти записки я посвящаю истокам, заре революции и ее гримасам, и ее людям, стоящим у этих истоков еще до того, как они пережили зловещую метаморфозу.

### В БЮРО ПЕЧАТИ СОВНАРКОМА

...1917 год. Осень. Я репортер большевистской газеты "Рабочий и солдат" (так после Октября стала называться газета "Рабочий путь"). И вот как-то в нашу редакцию приходит заведующий бюро печати Совнаркома Товий Лазаревич Аксельрод и говорит, что ему в бюро нужен толковый секретарь.

Прасковья Ивановна ни за что не хочет отпускать меня. А потом все-таки соглашается. Раз нужно для дела... И я становлюсь секретарем бюро печати Совнаркома.



Ленин, Калинин и Троцкий — высшая власть Советской республики (сверху)

Троцкий, Ленин и Каменев в дни Второго Конгресса Коминтерна

А незадолго до этого, буквально накануне Октябрьского вооруженного восстания (22 октября), я впервые увидела Троцкого, с кем в течение долгих лет меня и особенно моего мужа будут связывать узы дружбы.

Троцкий в моей жизни — это особая тема, на которой я остановлюсь еще в последующих главах, а пока хотела бы сказать несколько слов о моем первом впечатлении от его речи.

Он выступал в Народном доме, и тогдашний мой редактор, Прасковья Ивановна, послала меня записать его речь. Невозможно было представить, чтобы зал Народного дома оказался способным вместить такое количество людей. На каждом кресле стояли по трое-четверо. Я стояла четвертой, в руках у меня был новый карандаш и блокнот, ну где ж тут можно было писать.

О Троцком-ораторе написано столько, что уже кажется нечего добавить, и все-таки если бы меня спросили, чем именно отличается ораторское искусство Троцкого, то я бы, наверное, ответила: во-первых, мыслью, и во-вторых, филигранной отточенностью речи. Нет, не дикцией он выделялся среди других. У Свердлова, например, был более приятный голос, у Троцкого голос был немного скрипучий, но как только он начинал говорить, он захватывал вас в водоворот своих мыслей и слушая его, вы незаметно для себя оказывались под гипнотическим влиянием этого человека.

Он обладал только ему присущим талантом доводить аудиторию до высшей точки накала. Именно это произошло во время его выступления в Народном доме, когда он в разгар своей речи вскинул вверх два пальца и воскликнул: "Клянись, что вы поддержите пролетарскую революцию!" И вся аудитория, тысячи людей, скандировали вслед за ним: "Клянемся!" И стоящий впереди меня меньшевик Хачалава, ярый противник вооруженного восстания, вскинул вверх два пальца и тоже скандировал: "Клянусь!" Когда мы вышли на улицу, я спросила Хачалаву, как это получилось. И он ответил: "Часа через два я, наверное, приду в себя, но вы понимаете, когда стоишь и слушаешь этого человека, просто невозможно не следовать за ним".

Внешне Троцкий не производил какого-то особого впечатления. Он был немного выше среднего роста, сухощавый, но не аскетически худой. Одевался во все темное. Позже я всегда его видела в военном. Но всего этого мы не замечали, когда Троцкий начинал говорить, у него была особая стиливая манера, не похожая на стиль никакого другого оратора.

Сейчас мне уже трудно воспроизвести содержание многих его выступлений. Троцкий обычно импровизировал. На аудиторию он влиял не только мыслью, но и голосом, интонацией, всем своим обликом. Возможно, если бы те же слова, даже речь, произносились кем-то другим, они не обладали бы подобным воздействием.

В Бюро печати работали в те дни по двенадцать часов в сутки. Каждый день новости. Новые люди. Новые назначения. Студенты Бехтеревского института взяли за правило собираться каждый день в Смольном — не хватало терпения ждать газет, и информацию хотели получать из первых рук. Собирались обычно в специальной комнате, на двери в которую чернилами было написано: "Студенческая фракция РСДРП (большевиков)".

Связным в эти дни был один замечательный парень Чудновский, длинноволосый, одетый во все военное. Он успел уже побывать на фронте. Я не помню его официальной должности, но он пользовался безграничным доверием у руководителей ЦК.

И вот, сидим мы в нашей комнате, студенты-эсдеки, в ожидании новостей. На пороге то и дело появляется Чудновский, вылетающий из другой комнаты напротив, где идет заседание ЦК РСДРП (б).

"Министр иностранных дел Троцкий!" — восклицает он и снова скрывается. Кажется, он отсутствует целую вечность. Бухбиндер, наш институтский вождь, недоволен. Когда Чудновский появляется, он предупреждает его: "Если ты не будешь каждые четверть часа сообщать, что там делается то мы всем составом ворвемся туда".



На пороге снова Чудновский: "Министров вообще нет, а есть народные комиссары!" "Кто предложил?" — кричу я. "Троцкий предложил!"

Он исчезает и появляется снова: "Нарком просвещения... Луначарский! — кричим хором. — Чудновский, а кто председатель Совнаркома?" "Вот дурачье! Конечно, Ленин!"

Так шло одно из первых заседаний ЦК, на котором распределялись первые наркомовские портфели. После заседания я поехала к Троцкому, зашла в кабинет, он был пуст, а над письменным столом большая надпись: "Ничего со стола не брать, кроме съедобного и куримого".

Через несколько дней меня снова посылают записать его речь, на этот раз в Кексгольмском полку. Говорил он о текущем моменте. Приехала домой и реву: ничего не могу понять из записанного. Разобрала только к двум часам ночи, переписала все и наутро повезла записи Аксельроду, кладу ему на стол. На другой день, когда вышла газета с речью Троцкого, он заходит в Бюро печати и спрашивает: "Кто вчера меня писал?" Аксельрод, не понимая, куда он клонит, невнятно бормочет: "Э-э, тут один товарищ писал". "Пусть этот товарищ теперь всегда пишет". "Так вот он этот товарищ!" — обрадованно представляет меня Аксельрод Троцкому.

Троцкий подходит ко мне, мы с ним здороваемся: "Как же вас зовут? Как фамилия? Отныне вы всегда будете меня писать и после этого приходите считывать — это дело ответственное".

Вообще-то я записывала обычно троих: Ленина, Троцкого и Луначарского. После их выступлений с каждым из них считывала тексты. Но к Ленину и Луначарскому иногда других посылали, когда я была занята. Троцкого записывала только я одна. Таково было его личное указание. Сейчас даже трудно представить, что означало тогда личное указание и желание Троцкого, так же, как многие с трудом представляют, каков был личный авторитет Троцкого в те годы.

Уже во время профсоюзной дискуссии, когда ЦК вел жесточайшую борьбу с Троцким, рабочий сестрорецкого завода Зоф, человек, бесконечно преданный Ленину, тот самый

Зоф, который вез его в шалаш в Разлив, рассказывал, как в разгар дискуссии он сказал Ленину: "Что вы, Владимир Ильич, так цацкаетесь с Троцким? Он не наш человек, был не нашим и не нашим останется, надо расстаться с ним и все!"

А что ж на это сказал Ленин? Он принял свою излюбленную позу, засунув пальцы за проймы жилета и, едва сдерживая гнев, проговорил: "Что вы сказали? Да вы знаете, что такое Троцкий для революции? Вы шутите? Никогда! Не только говорить, думать не позволяю об этом!" В ответ на этот рассказ я заметила: "Позвольте, неужели Ленин говорил таким тоном?" "Да, на этот раз он говорил именно так", — заключил Зоф.

#### РАДЕК И ИОФФЕ

В дни, когда я поступила работать в Бюро печати Совнаркома, с Адольфом Абрамовичем Иоффе я еще не была знакома. Впрочем, фамилию Иоффе я знала великолепно, потому что постоянно принимала от него сообщения по прямому проводу из Бреста, где шли переговоры с немцами, и он возглавлял нашу мирную делегацию.

Я очень хорошо помню день, когда впервые увидела Иоффе. В здании Совнаркома было две столовых — одна внизу, другая, рангом выше, на третьем этаже. И вот, как-то поднимаемся мы с Радеком в столовую на третий этаж (о Радеке я еще буду писать) и вижу вдруг брюнета с незнакомым и очень интересным лицом. Я спрашиваю Радека: "Карл Бернгардович, кто этот обаятельный человек? Просто наш большевистский Церетелли". Это и был Иоффе. Радек почему-то страшно обрушился на него. "Иоффе — это барин. Как был барин, так и остался, никакая каторга его не исправит". Радек вообще был очень ревнив. Он всех ко всем ревновал. По-видимому, и меня он взревновал к моему будущему мужу. Причем эта ревность у него доходила до какого-то мальчишества. Позже муж мне рассказывал, как однажды он написал статью — а у него была

секретарша Смородина, — и он сказал ей: "Товарищ Смородина, отнесите это, пожалуйста, в Бюро печати". В ответ неожиданно вмешивается Радек и говорит: "Идите сами, нечего ее посылать, сами идите!" (Уж не знаю, чего он этим хотел добиться.) Но Иоффе действительно пришлось идти, и с тех пор все свои статьи Адольф Абрамович приносил мне сам.

В то время все они — "антибрестовцы": Радек, Иоффе, Бухарин — основали новую газету "Коммунист". Редактором был Владимир Михайлович Смирнов. Кстати, я тоже была против Брестского мира, тоже "антибрестовка". Но я не знала, что мне делать. Только что вступила в партию и уже против ее линии. И я решила, что не имею права выступать. Хочешь воевать — иди войой, а война уже за околицей. И я уезжаю на Финский фронт. Провожавшие меня Радек и Аксельрод принесли на вокзал шоколад из какао, ржаной муки и подсолнечного масла (после этого я два года не могла смотреть ни на какие сладости).

Вообще с Радеком мы довольно быстро сдружились. И это, в общем-то, было неизбежно. Радек плохо владел русским языком. Его родными языками были польский и немецкий. Думал он по-немецки, но домашним языком у них в семье был польский.

Причем свои мысли он довольно хорошо выражал и по-русски, но не очень-то грамотно. Однажды продиктовал он мне фразу: "Чего ты меня, батюшка, порёшь!" Я ему объясняю: "Порёшь нельзя сказать, нужно или орешь, или порешь, а вы смешали все на свете..." И так мы сдружились, что он совершенно не мог без меня, я-то ведь знала и русский, и немецкий.

Так вот, когда я уезжала на фронт, Радек мне сказал: "Марья Михайловна, вы мне обязательно пишите в нашу горе-левую газету "Коммунист". Мало с кем в партии я была столь тесно связана, как с Радеком — и по работе, и домами. Он был очень образованный человек, эрудит, необыкновенный книголюб. Уже после революции Радекам дали в Кремле трехкомнатную квартиру, и каждая из комнат выходила в коридор. Бывало, зайду я, валяется он на



Ворошилов, Троцкий, Калинин, Фрунзе и Буденный на мавзолее Ленина (сверху)

Троцкий в эмиграции

тахте, обложенный журналами, или бродит среди полок с книгами — одну возьмет, продекламирует какую-нибудь цитату, на место положит, другую возьмет, просто погладит. Наблюдая однажды за ним, я сказала: "Слушай, Карл, ты со своими книгами прелюбодействуешь, как султан с наложницами".

Знала я великолепно и Соньку, любимую дочь Радека, и жену его Розу. Мы постоянно встречались в Совнаркоме и в Кремле. Последний раз я услышала о Соньке уже много лет спустя, когда возили меня по лагпунктам и перевели наконец в каторжный лагерь "Речлаг" на лесоповал. Прибыла я сюда и узнала, что только что передо мной здесь была Сонька Радек.

Позже, когда ее спрашивали, как она рассталась с матерью и отцом, она отвечала: "Мамочка умерла в подмосковном лагере, а где Радек — не знаю".

Вообще-то она его обожала. Как-то она прискакала из школы и, обратившись к нему, воскликнула: "Папа, нам сказали сегодня, что все мы произошли от обезьяны!" "Да нет же, Сонька, это не мы, это наши прапрапрадеды. Вот те были от обезьяны". А она ему: "Знаешь что, папка, а ты, по-моему, прямо произошел от обезьяны, ты же весь волосатый".

Радек действительно был страшно некрасив, и когда он распахивал рубаху, обнажался черный лес волос, над чем постоянно потешалась дочь.

Вообще на шутке, на остром слове шла вся их семейная жизнь. Однажды (было это в начале 29-го года), уже во времена оппозиции, шли мы в Кремле: я, Роза, жена Радека, Сонька и сын мой Волечка. Волечка никогда в Кремле не жил, а Сонька, наоборот, в Кремле выросла, ее знали здесь все мальчишки, и, как только увидели ее, принялись дразнить: "Описьенерка! Описьенерка!" Сонька обернулась и как цыкнет: "Сталинцы засранные!" Роза засмеялась и сказала: "Вот это политический разговор".

С семьей Радека мы были связаны много лет, но сам Радек как личность долгие годы оставался для меня загадкой. Один раз, это было уже в 20-е годы, я заговорив о

нем с Адольфом Абрамовичем, спросила мужа: "Ты знаешь, я не могу в нем разобраться: нравственный он человек или безнравственный? Ум — бесспорен, талант — бесспорен, никого равного ему по журналистскому таланту я вообще не знала, даже за границей". Так вот, Адольф Абрамович тогда так ответил: "Видишь ли, в оценке его профессиональных способностей ты абсолютно права, а что касается — нравственен он или безнравственен, так он — не нравственен и не безнравственен, он — по ту сторону морали, она для него не существует, у него свои нормы поведения, свои мысли, свои поступки..."

Это была абсолютно правильная характеристика. Вспомните хотя бы Радека на процессе 37-го года, ведь никто так "осмысленно", так "вдохновенно", на таком "философском уровне" не каялся и не предавал других, как Радек. Я определенно знаю ход его мыслей: главное выжить, а потом мы все объясним! А то, что все это безнравственно, — его просто не занимало. Вот что, по-видимому, и имел в виду Адольф Абрамович, когда говорил, что он, Радек, по ту сторону морали.

Вообще все они были очень разными. Лишь в сталинской пропаганде выступают они как манекены со стертыми лицами, лишенные всяческих человеческих черт, объединенные лишь кочующими из газеты в газету "презренными кличками", отлитыми в подвалах Лубянки, — "троцкистско-бухаринское охвостье", "проклятая банда убийц" и т.д. Даже после XX съезда в СССР ровным счетом никто (да и не было на то ни у кого желания) не попытался представить характеры этих людей, проследить, какие именно из этих черт и как проявлялись до революции и в годы чисток. Впрочем, в эти годы действительно уже действовали некие манекены — темная масса, толпа, вызванная к жизни Сталиным и сталинизмом, для того чтобы расправиться со вчерашними философиями революции, со многими из тех, у кого были и горение, и вера. Этих представителей серой сталинской массы я видела во множестве в облике допрашивающих и пытающих меня следователей, таких, например, как печально-знаменитый Кашкетин, безнравственных, полуграмотных кретинов,

ежовскую гвардию, которой "бессмертный Сталин" вручил меч революции. Мечом этим они безжалостно сносили головы тем, кто революцию делал. О тех, кто стоял у истоков, я и пытаюсь рассказать в меру того, насколько мне позволяет память.

Естественно, одному человеку не под силу эта задача — обрисовать психологический облик наиболее ярких деятелей оппозиции, но все-таки, те из нас, кто пережил эту эпоху, не вправе не представить своих свидетельств, которые, возможно, в будущем сослужат свою службу историкам.

### МОСКВА-ПЕТРОГРАД-БЕРЛИН

Среди тех, кто окружал меня в те годы, был и Николай Иванович Бухарин, с которым мы, впрочем, не находились в столь близких отношениях, как с Радеком и Троцким. Но все же сталкивалась я с ним и в Петрограде, и в Москве, и был он человеком, о котором любой из свидетелей той эпохи, знавших его, не в праве молчать. У каждого, с кем он встречался, Бухарин оставлял светлое впечатление, он был само обаяние, хотя отнюдь не был лишен человеческих слабостей (очень любил сквернословить).

Однажды ехали мы из Берлина в поезде: я с Адольфом Абрамовичем, Раковский, назначенный послом в Австрию, и Бухарин. Остановились на пограничной станции, а я, помню, очень плохо себя чувствовала. Николай Иванович подходит и, как обычно, чуть в нос говорит: "Марья Михайловна, плохо себя чувствуете? Вот и я тоже, будто поставили мне клистир из уксусной эссенции с битым стеклом". Иоффе засмеялся и сказал: "Николай Иванович, удивительно интересно занимаете вы молодую даму".

Но эта его страсть сквернословить лишь оттеняла его светлый характер, его обаяние. Ленин, который никогда не был склонен к сантиментам, всех называл по фамилии и на "вы" и даже самого близкого ему, Кржижановского, тоже стал называть на "вы", — одного лишь Бухарина и



Ленин и Троцкий среди участников подавления Кронштадского мятежа



Ленин и Троцкий среди участников подавления Кронштадского мятежа

за глаза, и в глаза даже называл не иначе, как Бухарчик. Когда Николая Ивановича назначили директором Института Красной профессуры, то один наш знакомый заявил, что и он идет туда же, хотя бы только потому, что будет там Бухарчик...

Но я, кажется, сильно забегаю вперед. С Финского фронта Бюро печати Совнаркома вызвало меня для того, чтобы направить в качестве журналиста на IV съезд Советов. Правительству в Петрограде уже не было — оно эвакуировалось. И нужно сказать, на меня это произвело нехорошее впечатление, потому что все рабочее — Бадаев, Евдокимов, Наумов, Бакаев — остались в Питере, а вся интеллигенция — в Москве.

И еще на душе было кисло оттого, что рвем с левыми эсерами. С меньшевиками порвали, с интернационалистами порвали, остались только левые эсеры.

Не успела приехать, как меня тотчас посылают в Благородное собрание записывать Ленина. В кожаной тужурке, в вязаном шлеме протискиваюсь я в зал, битком набитый, и начинаю слушать Ленина. Когда же он заговорит о главном — о левых эсерах? Как объяснить все? И вот он доходит до этого места и говорит буквально следующее, насмешливо и как-то подчеркнуто: "А товагищам левым эсерам мы скажем: была без гадости любовь, газлука будет без печали..."

Дали мне комнату в Метрополе и устроили там так — один этаж остался хозяину, другой — большевикам, третий — хозяину, четвертый — большевикам. В Питере бедность, нищета, а здесь совсем другая жизнь, обеды под музыку, все наши дамы стараются принарядиться, только я одна демонстративно хожу в кожаной куртке и вязаном шлеме и вообще не нравится мне весь этот маскарад, назад тянет — в Питер.

И вот на последнем заседании съезда Советов сижу за столом журналистов. Вдруг вижу Володарского. Машет он мне рукой. Я подхожу к нему, присаживаюсь рядом в президиуме, и он мне говорит: "Слушайте, Марья Михай-

ловна, едем обратно, в Петроград, я назначен наркомом по печати, а вы поедете моим помощником. Будем сначала все организовывать. Что вам тут, в Метрополе, делать, с барынями обедать?"

Во мне даже все встрепенулось: ему не нравится то, что не нравится мне. С сомнением в голосе говорю: "Но меня ж не отпустят отсюда, Аксельрод не отпустит". "Если я за это берусь, то отпустят", — отвечает Володарский.

Дома, когда я рассказала обо всем Додушке, он страшно обрадовался: "Знаешь, давай вспомним танец дикарей". И мы стали как сумасшедшие плясать, швабру схватили и с шваброй пляшем. В разгар пляски входит Радек и говорит: "Продолжайте, продолжайте, одной шваброй меньше будет". И далее он рассказывает, что и у него новость: назначен он начальником отдела Срединной Европы Наркомата иностранных дел. Мы подхватили его с Додушкой и теперь уже втроем исполнили танец дикарей. После чего Радек, отдышавшись, сказал, что никуда мне ехать не надо, а, напротив, надо оставаться в Москве, все равно я из Питера обратно вернусь.

И вот едем мы всей компанией в Петроград: Зиновьев, Евдокимов, Зорин, ну и я, чуть ли не замнаркома по печати.

Иоффе, с которым к тому времени мы уже друзья, назначается послом в Берлин. И Наркомат иностранных дел ищет людей, знающих немецкий. Таких было не очень много, так что вскоре приглашают меня.

Я говорю, что в Берлин не поеду ни за что. Иду советоваться к Зиновьеву, в то время он был Председателем Петроградского Совета и человеком, близким к Адольфу Абрамовичу. Прихожу и говорю: " Григорий Овсеич, понимаете, хотят послать меня в Берлин для работы в посольстве, а я не хочу, я должна остаться в Питере". Зиновьев отвечает: "Поезжайте непременно. Для нас вы просто незаменимы. Кто за вами с вашей внешностью будет следить? Мы будем через вас действовать!"

Прошел день, и тот же Зиновьев меня снова приглашает: "Марья Михайловна, откажитесь вы от этого Берлина. Мне

Володарский закатил такую истерику. Говорит, единственное место, которое у меня не хромает, это то, которым она заведует".

А заведовала я в Бюро печати отделом иностранных журналистов, с которыми всегда была в контакте, и Володарский, по-видимому, это так ценил, что называл меня замнаркома. Работа эта была очень живой, постоянно новые знакомства. Стала я своего рода связным между большевиками и иностранной прессой. Жизнь была суетной, бурной и не без занятых приключений, одно из которых мне особенно запомнилось.

### КАК Я АРЕСТОВАЛА НЕ-БУКВУ

Среди выдающихся петроградских журналистов был тогда знаменитый Василевский (Не-Буква). Его старший брат писал в газетах под псевдонимом Буква. В противоположность ему младший из братьев — куда более талантливый — подписывался Василевский Не-Буква или просто Не-Буква.

Однажды сидит он у меня в кабинете и поносит наше правительство: Ленина и других, я говорю ему: "Прошу вас оставить мой кабинет". "Нет, почему же, отвечает, у вас же демократия. Вот я как сидел, так и буду сидеть". Я говорю: "В таком случае ведите себя прилично, ведь вы беседуете с сотрудником этого правительства, так что и ведите себя как подобает". "А я считаю, что поносить ваше правительство, это и есть самое приличное". Тогда я поднимаю трубку и говорю: "Пришлите, пожалуйста, двоих из комендатуры, тут нужно одного человека взять". И его арестовали.

А я с той минуты просто не нахожу себе места и ничего не могу с собой поделаться. Я арестовала человека. Рассказываю обо всем Радеку (он как раз приехал в Питер на один день), Радек хохочет: "Это, говорит, будет самое веселое место в моей биографии, как вы арестовали Не-Букву.

Иду к Дзержинскому, рассказываю ему обо всем, он тоже хохочет. "Ну что теперь с ним делать?" — говорю я. — "Вы его арестовали, отвечает, вы и решайте, я ж не арестовывал его.

Снова иду к Радеку и говорю: "Послушай, Карл, он ведь, наверное, голодный, пойдем в столовку и возьмем для него бутербродов. Если я пойду одна, мне дадут мало, а если с тобой, то тебе дадут много".

Бутерброды были замечательные с лошадиной колбасой. Набрали мы этих бутербродов. Я говорю Карлу: "А ведь он может взять все это, да и в парашу выбросить". На что Радек невозмутимо отвечает: "Я совершенно согласен с Феликсом — ты арестовала, так ты и делай все что хочешь".

Тогда я сама решила идти в камеру к Не-Букве. Если он откажется их брать, то я ему отвечу — "Это дело ваше, обратно я их не понесу".

Захожу я к нему, сидит Не-Буква в длинном-длинном пальто с бровным воротником, чем-то на Шаляпина похож. Холодюга у него невыразимая. Думаю: "Сейчас начнется. Выбросит он все эти бутерброды". А он вместо этого падает передо мной на колени: "Герцогиня Падуанская навещает бедных заключенных!" А я говорю ему: "Вот вам бутерброды". "О-о! Это очень дельно!"

Я собираюсь уходить, а он встал у двери и не дает выйти: "Нет-нет, я вас не пушу, побудьте со мной хоть минут пятнадцать. Герцогиня Падуанская радость заключенным приносила, а вы хоть поговорите со мной". Я отвечаю: "Я вам и принесла радость — бутерброды". "Это, говорит, конечно, но все-таки недостаточно", — и снова опускается передо мной на колени.

Ушла я от него, а сама думаю: "А что дальше-то с ним делать и за что вообще я его арестовала?"

Снова иду к Дзержинскому и говорю: "Надо его все-таки освободить". Он отвечает: "Освобождайте. Вы арестовывали, я к этому отношению не имею".

Снова возвращаюсь к Не-Букве в камеру и говорю: "Вы свободны и можете уходить". "Э нет, говорит, я никуда

не уйду, во-первых, я еще не все бутерброды съел, во-вторых, здесь вы, а в-третьих, я вообще не уйду, какая же я жертва борьбы, если всего час просидел, нет, никуда не уйду! — и продолжает: — Марья Михайловна, единственная просьба несчастного заключенного: отпустите меня завтра". "Нет, немедленно уходите вон, иначе применят силу, — и говорю охраннику, так чтобы Не-Буква слышал: — Если он сейчас же не уйдет, примените к нему силу". Он действительно услышал это и кричит из камеры: "Иду, иду, только бутерброды разрешите с собой взять!"

Написала обо всем этом статью и подписала обычным своим псевдонимом — Красноармейка, а Радек решил сосричь и вместо этого вписал: "Красивоармейка". Еле-еле я успела задержать номер, исправить. Что же касается Не-буквы, то позже он оказался в эмиграции, писал изумительно, с таким остроумием, что стал одним из самых замечательных журналистов эмигрантской печати.

Вот так шли будни. Как я поняла позже, это уже были кровавые будни, когда в подвалах ВЧК расстреливали невинных людей, Россию косил мор, но я в свои семнадцать лет в огне борьбы и романтики этого просто не видела, не ощущала. Может быть, оттого, что люди, окружавшие меня, такие, как Бухарин, Володарский, Раковский, были людьми особого рода, горевшими идеей революции и заставлявшими всех нас верить в ее самые справедливые идеалы.

Однако вернусь к своему рассказу. В Берлин Адольф Абрамович все-таки уговорил меня поехать. Перед отъездом пришла телеграмма из Москвы от Радека, что назначаюсь я секретарем отдела Срединной Европы Наркомата иностранных дел. Телеграмму подписал Ленин, но я-то без труда догадалась, чьих это рук дело. Чтобы не спорили, Радек взял и подsunул текст Ленину (как видим, эти вещи делались тогда довольно просто).

Володарский настаивал, чтобы я осталась у него "зам-наркома" по печати. А тут еще пришла телеграмма от Стеклова, главного редактора "Известий" — назначает он меня корреспондентом "Известий" в Питере, — вот уж действительно никогда в жизни у меня не было такого делового



Деятели оппозиции, убитые Сталиным.



успеха. Но все-таки, как уже сказала я, уехали мы в Берлин, пробыли там восемь месяцев, после чего снова вернулись в Россию. О нашем пребывании в Германии стоит также сказать несколько слов.

Дело в том, что в одном из номеров "Социалистического вестника" я прочла, что Ленин делал революцию на немецкие деньги. Вот это место мне бы и хотелось прокомментировать, ведь все это, что называется, проходило на моих глазах.

Министром иностранных дел Германии тогда был доктор Сольф, а товарищем министра — фон Кригге. Так вот, однажды Кригге пригласил к себе Адольфа Абрамовича: "Сделайте на Западном фронте то же самое, что вы сделали на Восточном, то есть разложите фронт. Сумму мы не называем. Любые миллионы или даже больше получите. Дадим столько, сколько скажете" (речь шла о немецко-французском фронте. — *Авт.*). Огорошенный услышанным, Адольф Абрамович сказал: "Лично я ничего не могу вам на это ответить. Вы сами понимаете, что такие вопросы решаю не я".

Понятно, что Иоффе должен был немедленно связаться с Лениным. Для этого существовали специальные шифровки, которые я обычно прятала за пазуху. Расшифровывал их только один человек — сестра Ленина Мария Ильинична. Причем по прочтении обе стороны их немедленно сжигали, чтобы ничего не оставалось для архивов.

Итак, Иоффе сообщает о предложении Кригге. В ответ получаем шифровку Ленина, он пишет: "Деньги возьмите, отдайте Карлу (Карлу Либкнехту)". О просьбе Кригге разложить Западный фронт — ни слова. Между тем тот снова приглашает к себе Иоффе, и Адольф Абрамович, не давая ему говорить, задает вопрос: "Что же это вы "наследника Кирилла" в Берлин приглашаете? ( в то время до нас дошли сведения, что наследнику царской фамилии Кириллу было разрешено поселиться в Берлине.) Вы же настаиваете на нормальных отношениях, так знайте: если Кирилл переедет в Берлин, нормальных отношений никогда не будет!" На что фон Кригге отвечает: "Господин посол, види-

те ли, в чем дело, человек царской фамилии есть человек царской фамилии. Как мы ему можем отказать? К тому же, он прямой родственник кайзера Вильгельма". "Это меня не касается. Но как только Кирилл приезжает в Берлин, я тотчас же прерываю экономические переговоры с Ратенау и Штреземаном".

Дома Адольф Абрамович сказал мне: "Кригге понял, что о деньгах я говорить не буду".

Возвратившись в Петроград, мы с Адольфом Абрамовичем (к тому времени мы уже были мужем и женой) поселились в Смольном. Над нами жил Зиновьев, которого звали в то время главбогом Петрограда. Официально он занимал пост Председателя Петроградского Совета, а практически пользовался в Питере неограниченным авторитетом.

У Зиновьева была очень красивая голова и совсем не соответствующая ей фигура. Вас постоянно не покидало ощущение, что с такой крупной и красивой головой тело его никак не гармонировало. Голос у него был как у евнуха: тоненький, скрипучий, какой-то петушиный. Его прекрасно передразнивал Мануильский: "Та-аварищи, после того как выступил та-аварищ Ленин, наш великий вождь и учитель, — заливался он, подражая Зиновьеву, — мне уже абсолютно нечего сказать..." — и после этого говорил три часа", — заключал Мануильский своим обычным голосом.

Вообще-то говоря, это был человек с очень широким политическим диапазоном и настоящий интернационалист. Недаром Ленин его без всяких колебаний назначил председателем Коминтерна. Но, несмотря на весь этот широкий диапазон, он был человеком с маленькой душонкой, болезненно честолюбивый.

Довольно скоро после нашего возвращения из Берлина Зиновьев предложил мне работать в Коминтерне заведующей отделом печати и информации. Среди прочего в мои обязанности входило посылать литературу, издаваемую в Советской России, за ее пределы.

Как-то чисто случайно я не положила в чемодан для заграницы книжку Зиновьева с его портретом. Так он бук-

важно перестал со мной разговаривать. У него мировая слава. Его на руках носит весь Питер. О нем пишут все мировые газеты. Ну что ему этот несчастный портрет? После этого случая я вообще хотела уйти, но не могла бросить дело. Впрочем, Зиновьев, как и многие другие из этой плеяды, после 17-го года очень изменился. По-видимому, революция вообще хороша только в первое время, когда все строят баррикады и чувствуют себя революционерами. Совсем иное дело, когда они покидают баррикады и переходят "бороться" в канцелярии за письменными столами, начинают ощущать себя властью, правительством.

Приходит правительство. Приходит политика, а политика — это тактика, а тактика — это всегда зигзаг. Так, собственно, и произошло в России. Только Сталин превратил политику не просто в тактику, а довел ее до уровня обезчеловеченной технологии, одержимый патологической манией власти.

Все это произошло позже, а сейчас я говорю о первых, годах революции, о ее первых шагах и о ее людях, многие из которых в моих глазах не выглядели ни политиками, ни тактиками революции, они рубили прямо, с плеча, порой невероятно наивно и, похоже, само слово "зигзаг" из лексикона политической тактики даже не было знакомо им.

## СУД НАД ГРАФИНЕЙ ПАНИНОЙ

Помню первое заседание Народного суда, проходившее во дворце Николая Николаевича. Все было как полагается. Большой, обитый красной кожей стол. Красные кресла. Посредине, на председательском месте, сидит рабочий Жуков, по обе стороны от него четверо других, слева — двое путиловцев, справа — двое с завода Эриксона. Но суд вершат не только они. Суд вершит весь переполненный зал, оттуда, прямо из публики, вызывают защитника и обвинителя.

К первому заседанию Народного суда готовились не столько большевики, сколько меньшевики и эсеры, они организовались и сделали так, чтобы почти весь зал состоял из их сторонников.

Судить решили графиню Панину, ту самую Панину, которая больше чем кто-либо сделала для пролетарской бедноты, организовав знаменитый в Петрограде Народный дом. Был там бесплатный рабочий университет, курсы для женщин, ставились пьесы, Панина приглашала сюда выступать театры. Она создала специальный Фонд помощи бедноте, и ее делают первой подсудимой пролетарского Народного суда.

И вот она выходит, невысокая, приятная женщина в черном платье, а навстречу поднимаются два бородатых рабочих из публики, кланяются ей до пояса: "Спасибо, матушка графиня, в черную годину царизма только ты одна об нас заботилась, ты строила для нас Народные дома и Народные школы. Да святится имя твое!"

Я чувствую, что не могу дальше сидеть, ведь рядом буржуазные журналисты из "Нового времени", из "Речи", "Дня" и т. д. Я ведь все принимала близко к сердцу, за все отвечала.

Между тем Жуков спрашивает: "Кто желает обвинять?" Все молчат. "Кто желает защищать?" Все поднимают руки. Тогда я срочно шлю суду записку: "Жуков, немедленно делай перерыв!" Он послушно встает и говорит: "Объявляю перерыв!" Я обегаю кругом зал, влетаю в комнату судей и отсюда звоню в Смольный: "Ради Бога, найдите кого-нибудь, посадите в машину и пришлите какого-нибудь обвинителя, никто не хочет обвинять!"

В Смольном всполошились, разыскали рабочего Наумова с фабрики Эриксона (позже он стал заместителем Троцкого по морским делам). И вот Наумов произносит обвинительную речь на первом заседании пролетарского Народного суда. Он говорит, что мы обвиняем не ту графиню Панину, которая устраивала Народные дома, а ту, что не вернула народу взятые у него деньги (дело в том, что Панина занимала должность заместителя министра просвещения в пра-

вительстве Керенского и действительно не сдала деньги Временного правительства новой власти).

В результате Народный суд выносит ей такой приговор: "Объявить графине Паниной общественное порицание и держать в заключении до тех пор, пока не сдаст деньги!"

Едем обратно на машине с Жуковым, а Петроград весь в снегу. Ехали, пока не застряли в сугробе. "Это, говорю, Жуков, твой суд застрял и забуксовал".

Вылезла из машины, до Смольного доплелась пешком и у входа вижу Луначарского, кричу: "Товарищ нарком, товарищ нарком! Выслушайте меня. Мне срочно надо говорить с вами!"

Он сказал, чтобы я пришла к нему завтра утром в Зимний. Не знаю, уж почему, но в то утро я чуть не проспала. Проснулась, на часах — без двадцати девять, а он сказал, быть к девяти. Не умывшись, не проспавшись, бегу к нему, а он уж выходит из подъезда. Увидел меня: "А я как раз ждал вас. Ну ладно, поедем вместе в Смольный". Приезжаем в Смольный, и он галантно угощает меня морковным чаем. Я рассказываю ему про суд над графиней Паниной: "Понимаете, товарищ нарком, ее, конечно, осудили, но ведь закона такого нет, что надо сдавать деньги. Нужно вначале издать закон, а потом уж судить на основании этого закона". Он говорит: "Послушайте, вундер, откуда вы взялись?" "Какой там вундер, я ведь здесь работаю", — а у самой слезы на глазах — так стыдно за наш Народный суд. "Ну вот что, теперь приходите ко мне всегда, когда у вас есть какие-нибудь мысли или случается недоразумение. Милости просим".

Должна сказать: то ли в связи с этим случаем, то ли без связи с ним, но такой закон был издан. Все деньги, полученные от Временного правительства, надлежало передать новой власти. После этого мы с Луначарским часто встречались, и всякий раз у меня оставалось от встреч с ним необыкновенно светлое впечатление. Он любил звонить и так просто говорил: "Заходите, тему дам". Однажды я пришла, и в этот момент ему доложили, что в его приемной находится какой-то именитый индус. Луначарский тут же согла-

сился его принять, поскольку гость был известным человеком и, к тому же, лицом, близким к Ганди. Нужно было слышать, как Луначарский с ним говорил, какую осведомленность проявлял во всех вопросах. "Таким именно и должен быть нарком просвещения, — думала я, — пусть этот индус приедет в Индию и пусть всем расскажет, какой у нас нарком просвещения, чтобы больше уважали наше правительство".

*Продолжение в следующем номере.*

Воспоминания Марии Иоффе публикуются в литературной записи В. Петровского.

Фотографии взяты из книги:  
**TROTSKY, a documentary by Francis  
Wyndham and David King. 1972**

массовых фобий и массовых же стереотипов, оправдывающих ненависть и бессмысленную жестокость".

Сборник "Самосознание" служит именно этой цели. Этого недостаточно для того, чтобы изменить мир, но без этого немислимо никакое противодействие неудержимо растущей в современном мире волне насилия, ненависти и сатанинской злобы.

Сборник "Самосознание" призывает к защите гражданских и политических прав человека, к подлинной беспристрастности в оценке событий, людей, политических и социальных систем. "Беспристрастность означает способность отвлечься от своих целей, как бы страстно он к ним ни стремился в действительности, и анализировать вещи так, как если бы этих целей у него не было". Так определяет эту специфическую добродетель интеллигента В. Турчин.

Очевидно, что подлинная беспристрастность легче достижима для того, кто по самому своему положению не принадлежит полностью к какой-либо из претендующих на обладание абсолютной истиной групп, кто нигде не стал вполне "своим" и в то же время никому не является совершенно чужим, — иначе говоря, для вечного "эмигранта" и в своем отечестве, и на чужбине, для воплощения беспочвенности, для ненавистного деспотам и демагогам интеллигента.

БОРИС КАМЯНОВ

"ПТИЦА-ПРАВДА"

Стихи и поэма

Предисловие Анатолия Якобсона.  
Художник Татьяна Корнфельд.

Стоимость книги в Израиле 33 лиры (включая пересылку),  
за рубежом — 4 доллара.

Чеки высылать по адресу: Boris Kamianov Neve Yakov, 32/6,  
Jerusalem, Israel

В книжных магазинах Израиля сборник продаваться не будет.



Мария ИОФФЕ

## НАЧАЛО

Окончание. Начало см. в 19 номере журнала.

### СЛОВО ТРОЦКОГО

По-видимому, у каждого в жизни — своя основная линия, вне которой события, факты, да и сама жизнь обретают какой-то неосмысленный, лоскутный характер.

Моя линия жизни была связана с революцией и с одним из ее самых выдающихся деятелей — Львом Давыдовичем Троцким. В предыдущих главах я уже начала говорить о нем, о своем первом с ним знакомстве, но всякий раз, когда я касаюсь личности этого человека, — я ощущаю, сколь трудно ответить на вопрос, которым задавались и современники Троцкого, и историки: что представлял собой этот человек.

Выше я уже говорила о нем, как об ораторе, и об этом написано очень много (Троцкого, после смерти Жореса, называли первым оратором в мире). Но мне кажется, что более верным будет говорить не только об ораторском искусстве, но и об особом даре Троцкого воздействовать на людей, вести их за собой, делать свою идеологию их идеологией, свою веру их верой, свой пафос их пафосом.

Я бы сказала так: слово Троцкого не просто было словом оратора, оно как бы "прорастало" в человеке, влияло на него, а подчас способно даже было изменять его сущность.